

Генри Лайон
ОЛДИ

ТЕНИ
МОЕГО ГОРОДА

МАГИЯ УЛИЦ И ПЛОЩАДЕЙ

Генри Олди

Тени моего города (сборник)

«Автор»
1999-2005

Олди Г. Л.

Тени моего города (сборник) / Г. Л. Олди — «Автор», 1999-2005

Цикл рассказов, не связанных между собой тематикой или общими героями. Не связанных даже настроением. Общее в них лишь то, что в них говорится о неустроенности нашей жизни, о неприятии окружающей нас действительности. И о поисках выхода.

© Олди Г. Л., 1999-2005

© Автор, 1999-2005

Содержание

Хоанга	5
Жизнь, которой не было	11
Давно, усталый раб, замыслил я побег...	18
Конец ознакомительного фрагмента.	22

Генри Лайон Олди

Тени моего города

Хоанга

Та, что творит добро.

Есть в этом слове нечто притягательное, слабый отзвук флейт несбывшегося, вкус липкой ириски, запретной и оттого самой сладкой на свете. Помните? Хоа-а-анга... пьянит аромат жасмина, самовольно вторгаясь в соленый запах моря, южное солнце, одичалый демон зноя, сыт на рассвете и легко касается вашей кожи мириадами теплых пальцев, мурлыча на весь небосклон:

– Хоа-а-а-а...

Слышите?

И еще – тайна, которая заставляет сердце трепетать птенцом в ладони, предвкушая чудо. Чувствуете?

Ее звали именно так – я это понял с первого взгляда.

* * *

В тот день я проснулся гораздо раньше обычного, с твердой уверенностью в неизбежности чуда. Так просыпаются дети в свой день рождения; с возрастом, увы, ощущение праздника тускнеет, покрывается мохнатой пылью, будто монета, закатившаяся под диван – чтобы застрять в щели между полом и плинтусом на долгие годы.

Тихонько, стараясь никого не разбудить, я оделся и вышел на улицу.

Ноги сами понесли меня в нужном направлении. И я совсем не удивился, когда увидел ее. Чудо должно было произойти – и оно произошло.

Понимаете?

Она сидела у входа в парк, прямо посреди тротуара, и ждала.

Ждала меня.

Я подошел к ней и сел рядом.

– Здравствуй, Хоанга, – сказал я.

И она, чуть зажмурившись, улыбнулась мне своей обворожительной улыбкой.

Можно, Хоанга?

Да...

Я протянул руку и впервые коснулся ее – ее, полосатого Чуда по имени Хоанга.

Тигры.

Почему они так волнуют нас, не дают покоя, почему нас, хилых выроdkов обезьяньего племени, так влечет к могучим хищникам? – посмотреть хоть одним глазком, постоять рядом, пусть по разные стороны разделяющей решетки, но рядом, вместе...

У вас по-другому?

Помню прекрасную, полную теплой грусти и света, повесть Сарояна «Тигр Тома Трэиси». В детстве я зачитывался ею, да и став взрослым, многократно доставал с полки потрепанный томик – и всякий раз ко мне на миг возвращалось то детское ощущение прикосновения к Чуду. А нечеловечески простые, безумно вдохновенные строки Блэйка? «Tiger, tiger, burning bright in the forest of the night...»?! Для меня они в свое время стали шоком, чудесным откро-

вением! Или, не помню уж чей, рассказ «Автоматический тигр»? Или «Тигр для Мальгуди» Р.К. Нарайана? Или крохотная миниатюра, где тигры – совсем не те, кем они нам кажутся...

Ловцы тигров в сети из слов – мы с вами одной крови.

Мы сидели рядом. Смотрели, как поднимается солнце. Мы впитывали его лучи, и радостное томление не проходило – наоборот, усиливалось, заставляя меня ближе придвинуться к ней, обнять за шею...

Я знал: мне – можно.

Можно вот так сидеть, можно гладить мягкую, на удивление шелковистую шерсть, можно улыбаться, когда она время от времени лукаво косилась на меня зеленым глазом. Да, знаю не хуже вас, что у тигров глаза желтые, – но у моей Хоанги глаза были зеленые, с озорными золотистыми искорками.

Я ведь уже говорил вам: Хоанга – это чудо.

Помните?

А потом, когда солнце поднялось окончательно, мы переглянулись, подмигнули друг другу, и оба поняли – пора. Хоанга сладко потянулась, дав мне ощутить, как играют под ее шкурой гибкие мускулы, как бурлит в них нерастратенная, веселая сила, требуя выхода!

Мы встали и пошли.

Куда глаза глядят.

Ранние прохожие спешили мимо, по своим прохожим делам. Кое-кто вдруг шарахался в сторону, изумленно охая, спешил убраться подальше, но когда я пару раз оглянулся, то вдруг увидел улыбки. Мечтательные, изумленные, робкие... всякие. Улыбки пробивались сквозь обыденность лиц первой травой, упрямо расталкивающей серую плоть асфальта – на день, на час, на миг, а там будь что будет! опомнитесь! – Чудо задевает вас жарким боком, Чудо тихо порывается, требуя уступить дорогу, Чудо мягко ступает по мятым бумажным стаканчикам и вчерашним окуркам, как вам не ступать никогда, или нет – сегодня вы дойдете до угла летящим шагом, забыв себя, того себя, о ком следовало бы вообще никогда не вспоминать.

И тогда я подумал, что теперь знаю, как выглядят нимбы вокруг голов святых.

Тех святых, что в миру зовутся юродивыми.

Ведь так?!

– Ну... – обалдело вылупился на нас похмельный мужичок со скамейки, служившей ему кроватью. – Может, и так... во дают!

И зачем-то одернул мятый пиджак.

Вот, судорожно доставая из кобуры пистолет, подбежал усатый старшина. Резко остановился метрах в десяти, суетливо рванул затвор, забыв снять свой «макаров» с предохранителя.

– Гражданин, немедленно отойдите! Вы что, не видите, кто рядом с вами?.. Сейчас я буду стрелять!

– Вижу я все прекрасно, старшина, – улыбаюсь я ему. – Только ни в кого вы стрелять не будете. Не в кого тут стрелять. Понимаете?

И становлюсь боком, чтобы загородить от старшины мою Хоангу. С него станется, пальнет наобум...

Старшина теряет и почти сразу находит.

Сказывается выучка.

– Почему без намордника? И без поводка? Не положено!

Я честно пытаюсь представить себе Хоангу на поводке и в наморднике – в результате чего начинаю хохотать.

– Ну я... мне тово... сообщить придется! – Старшина сконфуженно пятится, тыча пистолетом в кобуру, безнадежно промахиваясь; и на усатом лице его помимо воли начинает проступать простодушная улыбка.

Увидел наконец!

Я машу ему рукой, и мы идем дальше.

И нам совершенно все равно, сообщит старшина куда-нибудь или нет. От нас не убудет.

Мы идем по просыпающемуся городу, моя рука лежит на спине Хоанги, и нам обоим хорошо.

Видите? – это мы.

А это вы.

Наконец мы сворачиваем в переулок, в котором я живу. Хорошо, что жена вчера убрала квартиру, – стыдно было бы привести Хоангу в тот захламленный вертеп, который обычно представляет из себя наше обиталище. Но сегодня – другое дело. Жена как чувствовала, умница!

Все-таки не зря я бредил тиграми всю свою сознательную жизнь! Жена сама не раз покупала мне календари и открытки с усатыми мордами, полными сурового обаяния, – и теперь она ничуть не удивилась.

– Нашел свою ненаглядную? – Брови ее шутливо хмурятся. – Одной женщины мало, развратник? Как зовут-то хоть?

– Хоанга.

– Хоанга, ты, наверное, голодная? Этот обормот о еде, конечно, и не подумал!

Хорошая у меня жена!

Завидуете?

Вообще-то тигры едят мясо. Много. Это если кто не знает.

Хоанга тоже ела мясо. Наверное. А еще она ела мороженое «Забава», наполовину сливочное, наполовину шоколадное. И кизилковое варенье, деликатно выплевывая косточки в миску.

Но об этом – после.

Вы когда-нибудь пробовали пригласить тигрицу в городскую квартиру? Пусть даже достаточно большую, четырехкомнатную?

Подозреваю, что нет.

Так вот, я вам открою страшную тайну – ей там будет тесно!

Стоит ли удивляться, что спустя час мы снова выбрались на улицу: Хоанга, я, моя жена и сын. Всей семьей.

И пошли бродить по городу.

Я всегда любил месяц май. И всегда знал, предчувствовал: если моя жизнь когда-нибудь перевернется с ног на голову – это непременно случится в мае.

Вы никогда такого не чувствовали?

Да, чудес не бывает навсегда. И даже надолго. Но май морочил нам головы, и мы искренне верили, что ошиблись.

Мы гуляли по улицам, бесконечно ели мороженое, с полчаса просидели в маленьком кафе под открытым небом, а люди за соседними столиками улыбались нам, и подмигивали Хоанге, и еще предлагали заказать соленых орешков или пепси-колы, – а Чудо улыбалось им в ответ своей неповторимой улыбкой; в итоге я всерьез начал ревновать тигрицу к ним всем...

О, будь я сам тигром!

Нет, тигром я не был. Но все равно сидел и блаженно улыбался.

Почти как Хоанга.

Зря смеетесь: так, как у нее, у меня все равно никогда не получится.

И у вас – тоже.

Когда мы уходили, нас не хотели отпускать, а горбоносый грузин-бармен все кричал вслед:

– Прихадьты ищо! Завтра прихадьты! Завтра! Я вашэй красавицэ такой шашлык сделаю!..

Нас фотографировали – и мы, включая Хоангу, ничего не имели против. А один парень с «Полароидом» вскоре догнал нас и неловко протянул снимок.

– На память! И еще... – Он повернулся к Хоанге. – Спасибо, что ты есть! Это просто здорово!

Хоанга благосклонно обошла вокруг фотографа, потершись об него.

– Можете ее погладить. Она разрешает, – улыбнулся я. – И не забудьте почесать за ухом.

...Парень ушел, обалдев от счастья, и еще долго оглядывался, пока не затерялся среди прохожих.

– Да, Хоанга, он прав, – наклонясь, прошептал я тигрице. – Спасибо, что ты есть.

«Пожалуйста», – вежливо дернулось ухо, за которым минутой раньше чесал счастливый парень.

Ночь. Цикадами потрескивают рдеющие угли, покрываясь мудрой сединой пепла, без конца пищит какая-то ночная птица, и сияющие глаза звезд с прищуром смотрят на землю.

Кто сказал, что звезды – холодные и колючие?

Они теплые и добрые. Они образуют в небе свое межзвездное братство, где бриллианты идут по цене пыли под ногами; и когда-нибудь мы тоже...

И вы.

Мы лежали у костра. На прихваченном с собой широченном пледе в легкомысленную клетку – он оказался настолько велик, что места хватило всем, даже нашей замечательной тигрице.

Мы лежали и смотрели на звезды, вдыхая смолистый запах сосен.

Четыре пары глаз блестели в ночи, разбрасывая по лесопосадке золотистые искры.

Все-таки прав тот, кто сказал, что тигры – совсем не те, кем они нам кажутся.

А потом был еще один день праздника, и еще, и еще...

Хоанга не делала ничего особенного. И мы не делали ничего особенного.

Мы просто гуляли по городу.

Навелись в знакомое кафе, и горбоносый бармен немедленно выставил перед Хоангой благоухающий шашлык.

– Дэнэг нэ нада! Абидышь! Подарок!..

Мы бродили по площадям и улицам, по паркам и аттракционам – и раскрашивали лица улыбками.

А еще горстями швыряли в чужие глаза искры из золота.

На третий день я обратил внимание, как чисто выметены улицы. И отнюдь не только в центре – мы забирались на окраину тоже. Город потерял свои обычные сумерки в любое время суток; теперь он, мой город, стоял на свету и изумлялся сам себе. Исчезли вечные груды мусора у киосков – владельцам сделалось стыдно. Ведь *она* может пройти мимо... Позор! Бранные слова быстро становились редкостью; недельная сводка происшествий оказалась на удивление скупой.

Не верите?

И не надо. Лучше мы бросим спорить с вами и пройдемся не спеша по бульвару, взорвав вокруг себя фейерверк праздника.

Если хотите, если вам по-прежнему неинтересно жить, вызывайте пожарных.

Вот мы с Хоангой: идем, смеемся и лишь изредка грозно порываем на слишком уж нахальных мальчишек. Мол, мы вам все же тигры, а не кошки – понимать надо! Мы, хищники, народ такой...

Шалопай понимали. С первого раза.

И мы с достоинством шли дальше.

Смотрите нам вслед.

Чудеса не вечны. И даже наоборот.

Это знает каждый.

Под вечер пятого дня Хоанга улыбнулась нам чуть грустно. Виновато улыбнулась, гася искры взгляда. И я понял – пора. Теперь ей пора.

– Счастливого пути. – Я присел рядом и обнял ее, как тогда, в первый раз, в парке. Горечи не было, только тихая грусть, сотканная из тишины и света. – Мы будем ждать тебя...

И завопил от радости, пугая соседей по подъезду, когда зеленый глаз, плеснув лукавым золотом, подмигнул мне в ответ!

Я был уверен, что это означало – «жди»!

Наш сын уже спал, набегавшись за день, спал и улыбался во сне. Хоанга с моей женой закрылись в соседней комнате... вот так всегда! Даже если одна из женщин – тигрица, у них все равно найдутся свои женские тайны, которые нам, мужчинам, не предназначены! Ну и ладно. Тайны – это все-таки здорово!

Потом мы еще долго сидели у окна все вместе.

Прощались.

Наутро мой сын облазил всю квартиру. Даже под диван заглянул. И тайком утирал кулачком слезы. Мужчины не плачут.

Я его понимал.

Я тоже с удовольствием заглянул бы под диван, чтобы вытащить стертую монетку надежды, застрявшую в щели между полом и плинтусом еще в те времена, когда я засыпал и просыпался улыбаясь.

Тигры.

Почему они так волнуют нас, не дают покоя, почему нас, хилых выроdkов обезьяньего племени, так влечет к могучим хищникам? – посмотреть хоть одним глазком, постоять рядом, пусть по разные стороны разделяющей решетки, но рядом, вместе...

У вас по-другому?

* * *

Я шел пустым парком, пиная вчерашние окурки и топчая мятые стаканчики из бумаги. Год Тигра, неслышно ступая по земле мягкими лапами, брел рядом, и далекие псы захлебывались в страхе хриплым лаем.

«Доигрался? – беззвучно вопрошал внутренний голос с интонациями опытного следователя, поднаторевшего раскалывать на признания вшивых интеллигентов. – Чудо ему, уроду... А финал? Финал-то где?! Дядя писать будет? Например, патетика: спецназ окружает вас, Хоанга рвет когтями бронежилеты, ты заслоняешь ее от роковой пули... Не нравится? Морду воротишь? Тогда лирика: ты садишься ей на спину, и полосатая красавица уносит тебя в край, где зори розовеют над синью залива, а маленькие эльфы с крылышками из слюды...»

– Пшел вон! – вяло огрызнулся я, а Год Тигра только рыкнул, и внутренний голос поспешил убратсья восвояси.

От его финалов нас тошнило.

Из-за поворота аллеи стремглав вылетела голенастая девчушка лет тринадцати. На роликах. Она неслась на нас вихрем в цветных налокотниках и наколенниках, пока вдруг не заложила крутой вираж, словно чего-то испугалась. Едва не поцеловавшись со старым ясенем, девчушка описала круг, второй, третий...

Я ощутил себя в центре мишени.

Вот сейчас невидимый палец тронет спусковой крючок...

Девчушка наконец решилась и по прямой подъехала почти вплотную.

– Как ее зовут? – спросила она, глядя рядом со мной и чуть-чуть вниз.

Улыбка первой травой прорастала на бледных губах, еще лишь понаслышке знающих о насилии помады.

– А тебя? – спросил я.

...Хоанга. Та, что творит добро.

Есть в этом слове нечто притягательное, слабый отзвук флейт несбывшегося, вкус липкой ириски, запретной и оттого самой сладкой на свете. Помните?..

Жизнь, которой не было

Это рассказ о студенте Альбере и зеленоглазой Женевьеве, это рассказ о холодном море и драчливых чайках, это рассказ о журавле в небе, и синице в небе, и ветре в руке, плотно сжатой в кулак, ибо у нас в руках редко остается нечто большее; это рассказ о бутылке шампанского, откупоренной невпопад, это рассказ о зеленоглазой Женевьеве и студенте Альбере и о жизни, которой не было.

Если вы знаете больше, то рассказывайте вы, а я буду молчать.

* * *

Дышать было скользко. Он шел по заснеженной набережной, смешно шаркая башмаками по плитам, он дышал и все не мог подобрать другого слова. Да, скользко. Иначе как назвать то ощущение, когда соленый сквозняк послушно заползает внутрь, чтобы мгновением позже стремглав ринуться вниз, в душу, в самую сердцевину, чертя на склонах замысловатые петли?

Он шел по набережной, смешно шаркая башмаками по плитам, и втихомолку посмеивался над собственной высокопарностью.

С ним это случалось реже, чем с вами, и чаще, чем со мной.

По левую руку, за парашютом, потрескавшимся от времени и усталости больше, нежели взгляды на жизнь иного старца из завсегдатаев окрестных кафешек, дрались чайки за кусок хлеба. Живая иллюстрация к призыву быть аки птицы небесные. Небеса равнодушно взирали на драку, старцы из кафешек равнодушно взирали на молодого человека, фланирующего по набережной, а молодой человек улыбался и шел себе дальше.

Он всегда улыбался, когда был не в духе.

Привычка.

Часом раньше он отбил телеграмму отцу, в Хенинг: «Взял академический отпуск. Хандра. Нужны деньги. Твой Альбер».

Телеграмма пошла сотрясать провода, а милая телеграфистка поправила каштановые волосы и попыталась кокетливо улыбнуться, но не успела. Трудно кокетничать со спиной, пусть даже спина эта обладает исключительной прямизной и достоинством.

Втрое большим, нежели у вас, и вдвое, чем у меня.

Обогнув новомодный мини-аттракцион, где летом всего за три монеты любой желающий мог перевернуться вниз головой и так провисеть целых три минуты, он замедлил шаг. Сгреб снег с парашюта, слепил твердый, упругий – так и хотелось сказать «звонкий» – снежок, прицелился и запустил им в чаек. Не попал, прикусил губу и еще долго стоял на одном месте, думая ни о чем.

Птичьи вопли были ему аккомпанементом.

Неподалеку, сидя в инвалидном кресле на колесиках, пожилая женщина торговала газетами и журналами. Лицо женщины, на удивление миловидное, было исполнено сознания собственной важности и исключительности – хотя смысла в этом не усматривалось ровным счетом никакого: набережная пуста, и лишь иней осыпается на серую бумагу, на глянец аляповатых обложек.

Политические сплетни и красотки в бикини равны перед инеем.

– Свежие новости, – еле слышно прошептала женщина. – Свежие но...

Звук ее голоса странным диссонансом вплется в гомон чаек и шелест ветра. Словно в феерической оратории Шнеера-младшего вдруг поперек речитатива застучала пишущая машинка. Он вздрогнул и решительно подошел к женщине в кресле, плохо понимая, зачем он

это делает. Взял ближайший дайджест, заглянул в конец, туда, где обычно размещены кроссворды и гороскопы.

«Сегодня 28-й и 29-й лунные дни. Когда солнечные и лунные ритмы противоположны, возникает внутренний раскол между сознанием и подсознанием, трудно реализовать задуманное, провоцируются конфликты. Необходимо больше внимания уделять самоконтролю. Сегодня не рекомендуется заниматься общественной деятельностью, больше внимания следует уделить семье. Случайные связи перспективны».

Он знал, что последует за этим. Так и произошло. Ему резко, до боли, захотелось, чтобы сегодняшний день прошел, чтобы «сегодня» мышью сбежало в уютную темноту «вчера» и все стало окончательно ясно. Чтобы можно было сказать самому себе: да, и впрямь раскол между сознанием и подсознанием помешал реализации задуманного, – но случайных связей не было вовсе, и оттого осталась под вопросом их перспективность. Общественная деятельность, внимание к семье – теперь можно сесть, выкурить сигарету и тщательно подвести итоги: что свершилось, что прошло стороной, а что лишь намекнуло о себе, оставшись робкой тайной.

– Свежие новости...

И крик чаек.

– Благодарю вас, – невпопад ответил он, положил дайджест на прежнее место и быстро, не оглядываясь, поднялся по каменной лесенке.

В открытый бар.

Женщина смотрела ему вслед, и сознание собственной важности окутывало продавщицу царской мантией, хотя к тому не было решительно никаких причин.

Он сел спиной к ней и лицом к морю.

Площадка бара нависала над серой стылостью пляжа, сплошь испещренной крестиками птичьих следов, словно грузное тело калек-продавщицы над вчерашней газетой. «Свежие но...» – эхом откликнулось у него в мозгу, и он пожалел, что не в силах выбросить дурацкий случай из головы, дурацкий случай, дурацкий прогноз-гороскоп и дурацкое желание узнать, чем же все-таки день закончится: совпадением или опровержением? Желание таяло где-то в желудке мокрым комком снега, наполняя все существо зябкой неопределенностью.

Для него это было почти так же противно, как для вас, и во много раз противней, чем для меня.

А если вы не согласны, то рассказывайте дальше сами, а я промолчу.

Высокий парень, до того скучавший за стойкой, подумал и направился к нему. По-прежнему скучая. Крупные, костистые лапы бармена (гарсона? официанта? уборщика?) болтались в такт ходьбе, неприятно напоминая протезы. На левой щеке парня красовалось пятно винного цвета, очертаниями похожее на карту Хенингской области; и он опять вспомнил про телеграмму, отправленную отцу, и про нехватку денег, которая начнет напоминать о себе примерно через неделю, а через две недели перестанет напоминать, привычно семеня рядом, словно нелюбимая жена.

– Пива нет.

Острый ноготь почесал пятно на щеке, как если бы без этого жеста бармен-гарсон-уборщик не сумел заявить вслух: пива нет. От сказанного веяло определенностью, некоей однозначностью приговора судьбы, свершившимся фактом, и странно: вместе с раздражением он почувствовал спокойствие.

Гремучая смесь.

– Шампанского. Какое у вас самое дорогое?

Бармен-уборщик-официант молчал и смотрел на него. Такие посетители не спрашивают шампанского, читалось в пустом рыбьем взгляде, такие посетители пьют пиво, светлое или темное, какое есть, потому что выбирать не из чего и еще потому, что такие посетители... впрочем, неважно.

– «Вдова Маргарет». Четверть реала за бокал.

– Дайте бокал. Пустой. И полную бутылку «Вдовы». Вот вам ассигнация в пять реалов, сдачи не надо.

– Лимон? Сыр? Маслины?

– Я просил шампанского. Если я захочу чего-нибудь еще, я вас позову.

Гарсон-уборщик-официант убрел обратно за стойку, где и завожился, брякая чем-то невидимым. Он проводил его взглядом, и спокойствия стало больше, а раздражения меньше. Нехватка денег начнет напоминать о себе уже завтра, в крайнем случае послезавтра, но это малозначительный факт, это просто мелочь, которую можно бросить в ледяное море, надеясь вернуться сюда летом.

Если бы он точно знал, что вернется, ему было бы гораздо легче.

Как вам и мне.

Сейчас ему принесут совершенно ненужную бутылку, он откупорит ее без выстрела (вряд ли этот высокий парень с родимым пятном и протезами вместо рук догадается откупорить сам!), наполнит бокал и, отхлебнув первый глоток, примется катать в горсти воспоминания, как скряга-меняла катает первый, утренний заработок. Это все уже случилось: калека-продавщица, прогулка по набережной, взгляды стариков и нелепый заказ в баре, – это все случилось, и теперь об этом можно вспоминать неторопливо, обстоятельно, наслаждаясь неизменностью вместо неопределенности.

Это радовало его, как радует вас, только больше; а я тут вообще ни при чем.

Так оно и случилось, а шампанское оказалось вполне приличным. Хотя он не любил шампанского и совершенно не разбирался в нем, предпочитая коньяк, в котором тоже не разбирался. Просто пил, зачастую забывая согреть рюмку в ладони, как всегда рекомендовал отец. О, отец, должно быть, получит телеграмму к вечеру, пожует сухими старческими губами и засядет в кресло до самой полуночи: греть ноги под пледом и думать о сыне. Денег он, конечно, даст. Нет, не так: денег он, наверное, даст. Дело, в общем-то, не в деньгах, а опять в неопределенности будущего: даст, не даст, вышлет сразу или помучит ожиданием, урежет обычную сумму или, напротив, расщедритя... Гораздо лучше было бы сидеть в открытом баре, уже получив отцовские деньги, и знать заранее, заранее и наверняка: вот они, деньги, а вот и письмо от отца, письмо или телеграмма, это есть, это достояние прошлого и теперь никуда не денется от разглядывания и любования!..

Зубы снова заныли от холода, когда он сделал второй глоток.

Он поморщился – и увидел ее.

Странно, он совершенно пропустил момент, когда в баре объявилась новая посетительница. Худенькая девушка в пальто с норковым воротником и старомодной шляпке, она сейчас сидела у самых перил, и перед ней стояло блюдечко с грейпфрутом, нарезанным дольками.

Когда гарсон-официант-бармен принял заказ и подал ей грейпфрут – это он тоже пропустил.

Она подняла голову, взглянув на него со смелой свободой и еще с каким-то темным, подспудным страхом. Она не отводила взгляда, и он поразился отчаянной зелени ее глаз.

– У вас есть шампанское, – тоном вольнонаемного обличителя сказала она.

Не спросила, не намекнула, просто сказала, так же просто, как чайки дрались внизу, на мокрой гальке, за кусок хлеба и серебристых рыбешек.

Он кивнул.

– А у вас есть грейпфрут, – сказал он.

Теперь кивнула она. Затем, помедлив, встала и пересела за его столик, не забыв прихватить блюдечко.

– Мне кажется, так будет правильнее, – сказала она, не улыбаясь.

– Я не люблю шампанского. – Он смотрел в зеленые глаза и ощущал спокойствие, словно день уже закончился и можно начинать с удовольствием вспоминать об этом прекрасном дне.

– А я не люблю грейпфрута. Он горький. Но почему-то заказала именно его.

Он еще раз кивнул.

Он понимал ее, как если бы вы были на его месте; а я не был на его месте и быть не мог, даже захоти я это сделать.

– Альбер, – представился он. – Альбер Гранвиль, студент.

– Женестьева, – сказала она, поправляя шляпку, и больше не добавила ничего.

Он подумал, не из *этих* ли она, и сам устыдился собственных мыслей. Во-первых, сейчас не сезон, а во-вторых, как ни горько это признавать, он отнюдь не производит впечатления подходящего клиента.

Поэтому он позвал бармена-официанта-гарсона с его руками-протезами, велел подать второй бокал и заставил хрустальные стенки облиться пеной.

А она протянула ему дольку грейпфрута.

Через час, беспечно болтая, они шли по набережной, остановившись лишь для того, чтобы попозировать бродячему художнику, вырезающему из черной бумаги силуэты заказчиков. Впрочем, художник оказался бездельником: силуэт Альбера выглядел профилем какого-то бородатого старика в очках, а силуэт Женестьева и вовсе не получился. Художник трижды начинал его заново, злился, кромсал бумагу маникюрными ножницами – и наконец быстро пошел прочь, даже не взяв денег.

Он еще и оглядывался, этот художник, неспособный вырезать простого профиля, он оглядывался, и ужас плескался в его взгляде.

– Пойдем, Альбер, – сказала Женестьева. – Это пустяки. Это все пустяки.

К вечеру они были наедине в той комнате, которую он снял вчера утром.

Все случилось просто и спокойно, как если бы это происходило не в неопределенности настоящего, а уже было давным-давно в обстоятельной неизменности прошлого, став приятным воспоминанием.

Ему понравилось.

Больше, чем вам, и меньше, чем мне.

– Тебе не холодно?

– Нет.

Из потрескивающего радиорепродуктора самозабвенно плакался великий тенор с непроносимой фамилией, тоскуя по родине, с которой уезжал разве что на гастроли, и то редко.

У тенора была молодая жена, лишний вес и потрясающий голос. Жену и вес он приобрел сам, голос же получил в дар от кого-то, чье имя столь же непроносимо, как фамилия тенора, и даже больше.

– Тебе точно не холодно?

– Мне тепло.

– Ты будешь смеяться, но мне кажется: мы встретились не случайно. Там, где составляются прогнозы вкупе с реестрами по их выполнению, полному или частичному, все было расписано заранее.

– Я не буду смеяться. Я вообще редко смеюсь.

– Знаешь, Женестьева...

– Знаю.

– Ты все-таки смеешься. А я действительно хотел бы знать: чем кончится сегодняшняя встреча? Утром мы разойдемся в разные стороны? Я получу деньги от отца и приглашу тебя в дорогой ресторан? Через месяц мы регистрируем наш брак, а через год обзаведемся малень-

ким существом в пеленках? Ты будешь сварливой женой? ласковой? безразличной? Ты не будешь женой?

– Почему ты хочешь это знать? Знать сейчас, когда мы лежим с тобой в одной постели и будущее туманно?

– Ненавижу туман. Когда-то психолог записал в моей карточке: «ситуативный экстраверт, сангвиник с высоким уровнем экстраверсии». Я до сих пор плохо понимаю, что он хотел сказать.

– Я тоже.

– Я спросил у него, что означает «сангвиник». Он сказал, что если в двух словах, то это такой тип темперамента. Я попросил сказать в одном слове, потому что два – слишком много для меня. Он говорил долго, гораздо дольше, чем вначале, но мне запомнилось немногое. Он сказал: сангвиник не умеет начинать дела, зато умеет заканчивать. Дескать, мне и мне подобным гораздо интереснее завершение, чем начало, нам проще подводить итоги, нежели терзаться неопределенностью. Я запомнил его слова, потому что он прав, этот психолог с вечно влажными руками. Мне трудно жить сегодня, я хочу жить вчера.

– Почему не завтра?

– Это еще хуже, чем сегодня. Еще дальше, еще туманней. Ненавижу туман... Впрочем, я уже говорил. В университете я всегда терзался: сдам ли зачет? улыбнется ли профессор? как улыбнется – злорадно или располагающе?! Я люблю гороскопы; я люблю вчерашние гороскопы, ибо тогда можно сразу сравнить: что сбылось, а что – нет. Ты думаешь, я болен?

– Нет. Ты здоров.

– Моя жизнь – чем она закончится? Я много начал, но не могу продолжить, лишенный возможности узнать заранее: победа или поражение? Думаю, мне гораздо легче было бы прожить жизнь во второй раз, прожить ее предупрежденным изначально и, значит, готовым ко всему. Тогда я не радовался бы победам и не горевал бы при поражениях, принимая их как определенность и неизбежность. Предупрежден – значит, вооружен. Мне трудно жить наугад, Женестьева.

– Да, тебе трудно жить наугад, Альбер. Тебе трудно жить. Иди ко мне.

– Хорошо.

И когда он растворился в ее бесконечной нежности, отбросив жизнь, словно смятое одеяло, ему почему-то привиделся бездарный бродяга-художник, ужас в пронзительных глазах его и еще рваные огрызки бумаги цвета траура.

Потом была темнота и покой.

Так иногда бывает у вас и никогда – у меня.

...Он стоял перед высоким зеркалом в резной раме. Вполоборота, по-птичьи косясь на самого себя. Проклятый художник почему-то пробрался даже сюда, в сон, – в зеркале вместо молодого человека отражался благообразный старик с аккуратно расчесанной бородой. Альбер подмигнул старику, и старик в ответ подмигнул ему. Получилось скверно, да вдобавок все впечатление портил шелковый бант в горошек, который старик имел обыкновение повязывать на шее. Такие банты носят извращенцы из богемы. Такие...

Альбер отвернулся от зеркала и оглядел сам себя. Все как всегда, ничего особенного, ничего выдающегося, но это можно простить, если очень постараться. Старик в зеркале тоже оглядывал себя, скептически кривясь, и выглядел зазеркальный бородач при этом крайне глупо.

Фыркнув, Альбер отошел в сторону и взял с тумбочки серебряный подсвечник. Юная танцовщица вскинула руки вверх, и вся ее нагая фигурка излучает восторг. Вокруг чашечки, которую танцовщица держала в руках и которая предназначалась для свечи, вилась надпись.

Мелкая-мелкая.

Альбер сощурился.

«Дорогому мэтру от благодарных учеников».

«Знай наших...» – победно ухмыльнулся старик в зеркале. Вместо ответа Альбер поставил подсвечник на место и подошел к окну. Там, по ту сторону стекла, открывался вид на море: синяя гладь и белая яхта у причала. Все как и полагается во сне. Даже название яхты: «Жене-вьева». Все как полагается. Некоторое время он смотрел, как над мачтами кружатся вечные чайки, но потом ему надоело это занятие.

Он сел на диван – кожаный, с большими подушками по бокам – и задумался ни о чем.

Напротив, занимая почти всю стену, висели книжные полки. Внимание Альбера привлекла третья сверху; если быть точным, внимания стоила не сама полка, а однообразные желто-коричневые корешки от края до края. Собрание сочинений, и на каждом корешке золотой вязью: «А. Гранвиль». Надпись ему понравилась. Она была стильной; она внушала уверенность.

О подобных надписях стоит мечтать.

Подняв глаза и слегка повернув голову, он обнаружил над диваном ковер, а на ковре – меч. Полированной стали, без ножен. В мече Альбер разбирался слабо, но это не имело никакого значения, потому что вдоль клинка тянулась гравировка:

«Сэру Альберу,
лауреату всемирной премии Хост-Пельтца».

Гравировка облагораживала клинок, будь он даже дешевой поделкой, каких много в лавчонках средней руки.

Альбер встал, снова подошел к окну и увидел, что на яхте подняли паруса.

– Значит, так? – спросил он у моря, яхты, книг на полке и меча на стене.

«Значит, так», – ответили меч на стене, книги на полке, море и яхта и еще благообразный старик в зеркале, который мгновением раньше отошел к окну и вперил взгляд в простор.

«Значит, так...» – ответил кто-то, у кого были отчаянно зеленые глаза.

В последнем Альбер был уверен.

Понимание явилось к нему ледяным и острым, будто нож под лопаткой, и отстраненно-ласковым, как зеленый взгляд, и еще безнадежным, словно желание проснуться.

– И что теперь? – спросил он на этот раз сам у себя.

После чего, не дождавшись ответа, вернулся к зеркалу и долго смотрел, как старик у окна хватается рукой за бант в горошек, пытаясь сорвать украшение, ставшее удавкой, как наливается морской синью лицо, обрамленное аккуратно расчесанной бородой, и как грузное тело сползает на паркет.

Когда старик умер, Альбер еще смотрел в зеркало.

Совсем недолго.

«Ты будешь сварливой жизнью? ласковой? безразличной? Ты вовсе не будешь жизнью? Ты уже была?!» – но в зеркале к этому времени не отражалось ничего, кроме призрака белых губ и призрака произнесенных слов.

Впрочем, прежде чем исчезнуть, исчезнуть навсегда и отовсюду, он все-таки успел услышать ответ на свой вопрос, и ответ оказался именно таким, как и предполагалось вначале.

Ответы – убийцы вопросов, но ни одному комиссару полиции не придет в голову призывать ответы к ответу; не придет, а зря.

Зря.

А у расстеленной кровати, еще хранившей запах быстротечной любви, в комнате, чья хозяйка весьма удивилась бы, узнав, что она вчера утром сдала ее какому-то молодому человеку с сомнительной репутацией, навзрыд плакала зеленоглазая женщина. Плакала, зная, что вскоре будет вновь сидеть в баре над морем, в дне без прошлого и будущего, устало глядя на

грейпфрут, нарезанный дольками, и никто не пройдет на этот раз мимо по набережной, шаркая башмаками, никто не сядет за соседний столик и не спросит шампанского.

Плакала женщина.

Одна.

На полу.

Между «вчера» и «завтра»; всегда посередине.

За окном кричали вечные чайки.

* * *

Это рассказ о студенте Альбере и зеленоглазой Женевьеве, это рассказ о холодном море и драчливых чайках, это рассказ о журавле в небе, и синице в небе, и ветре в руке, плотно сжатой в кулак, ибо у нас в руках редко остается нечто большее; это рассказ о бутылке шампанского, откупоренной невпопад, это рассказ о зеленоглазой Женевьеве и студенте Альбере, и еще о жизни, которой не было и больше не будет.

Если вы знаете больше, то я вам завидую.

Давно, усталый раб, замыслил я побег...

*В толпе легко быть одиноким.
Жетон метро – ключ к просветлению.
Спускаюсь вниз.*

Ниру Бобовай

- Значит, вы рассчитываете вернуться обратно? Домой?
- Да.
- Когда же, если не секрет?
- Скоро.
- А каким образом вы намерены это сделать?
- Никаким образом. Просто вернусь. Вместе с остальными, кто спал. Я не умею – вместе. Не люблю. Не хочу. Но здесь все наоборот. Здесь иначе не получится. Бабка меня уже нашла. Теперь – скоро.
- Но если у вас дома так хорошо, может быть, вы бы хотели забрать с собой и других людей? Чтобы им тоже стало хорошо?
- Всем?!
- Разумеется. Ведь это замечательно, когда всем хорошо.
- Всех забрать?!
- Не надо нервничать. Допустим, не всех. Например, тех, кто здесь. В пансионате. Как вы думаете, у вас дома им будет лучше?
- Не-а. Им не нужно, чтоб лучше. Было бы нужно, давно б ушли. Сами. Но они остаются. Значит, не хотят. Если дома станет много людей, получится ерунда. Как здесь. Дома каждый – один. А тут – вместе. Не люблю, когда вместе. Когда в месте, в одном месте, толчея. Вы, доктор, тоже – один. Вам тут плохо. Пойдете со мной?
- Спасибо за приглашение. Я подумаю.
- Думать не надо. Надо идти. Или не идти. Если вы пойдете – будет легче. Дойти.
- Хорошо. Скажите мне, когда соберетесь домой.
- Я скажу, доктор. Скоро скажу. Только не надо думать. Пожалуйста...

* * *

Время менять очки, понял доктор.

Очков у него было две пары. Очень похожих: тонкая, невесомая оправа и крупные, слегка вытянутые вниз стекла с весьма почтенными диоптриями, придававшие лицу слегка усталый вид. Стиль «Верблюд, король стрекоз» – так изъяснялась первая жена доктора, она же последняя, ибо после развода, дела давнего и почти забытого, счастливчик отнюдь не торопился впасть в очередное безумие. Но вернемся к очкам. Никакой тонировки, затемнения линз. Простота и солидность. Разве что металл первой оправы отливал сталью, а второй – бронзой. Никто, в сущности, не замечал, что доктор примерно раз в три месяца меняет очки. А и заметили бы, так не придали значения.

Доктор улыбнулся, извлекая запасной футляр.

Значение процесс имел только для него.

К очкам привыкаешь. Как привыкаешь к банальностям, к суете, к иллюзии, самозвано взобравшейся на трон реальности и нацепившей корону на кукиш лысой головы. Идет время; сидит узурпаторша; стоишь ты. Но, однажды всего-навсего сменив пару очков, вдруг понимаешь, что мир изменился, решительно и бесповоротно. Самозванка кубарем слетела с трона,

слабые, мягкосердечные банальности сцепились за выживание, по пути мутируя в зубастые, покрытые чешуей аксиомы; суета-беглянка сентиментально обернулась на горящий Содом, превратясь в соляной столб. Расплывчатость бытия, именуемая привычкой, стала бесстыдно резкой, хотя диоптрии одинаковых линз, а также идентичная центровка не давали к этому решительно никакого повода. Местами жизнь вытянулась, местами съежилась, мышью удрав в угол. Боковое зрение обрело дурную манеру исчезать и появляться по собственному усмотрению, словно кокетка-любовница, вынуждая кавалера постоянно коситься в сторону: на месте ли ветренная красotka? Ты резко поворачиваешь голову, ловясь на удочку легкого головокружения; пьян без вина, ты постоянно ищешь повод снять очки и протереть их суконкой. Ты весь в себе, занят собой и ненадолго забываешь, что вокруг тебя кишит масса совершенно бессмысленных, ненужных тебе людей.

Люди превращаются в объект исследования, чем и должны быть.

Запасной футляр лег в карман пиджака. Вечером, подумал доктор. Я поменяю очки вечером, на работе, оставшись в одиночестве. Зря, что ли, я записал себе на сегодня ночное дежурство. Еще один самообман, жалкая видимость деятельности. Мозговая кость, брошенная псу общества: тружусь, знаете, не щадя сил и здоровья... Впрочем, пес благодушествует возле будки, сытый былыми подачками. Я раскормил его до ожирения. До утраты бдительности. Не появившись я в лечебнице неделю или две – в крайнем случае мне бы перезвонили домой, под конец разговора попросив беречь себя. Выдавили бы каплю желтого, пахнущего фурацилином сочувствия: поймите, дорогой друг, в вашем возрасте... Сердце? Желудок? Ах, депрессия! Тонкая шутка: ясно, ясно, сапожник без сапог... Да, конечно. Выздоровливайте и ни о чем не тревожьтесь.

Очки сменить легко, на некоторое время укрывшись за частоколом новых стекол. Куда трудней сменить имя, банальность из банальностей.

Пес не отдаст любимую кость.

Работа в лечебнице была синекурой. Хорошо оплачиваемым балаганом. Они там все безнадёжны, в тысячный раз подумал доктор. За это я их люблю: за отсутствие надежды. За определенность. За витую решетку ограды, зелень газона вокруг шезлонгов, за божественную непогрешимость камер слежения, за присутствие вежливых ангелов-охранников и ворчание двух доберманов, обученных по специальной программе «Привратник». Я приглашаю их – разумеется, не доберманов и не ангелов! – сесть в кресло или прилечь на диван, я веду с ними беседы, выстроенные по всем правилам; Геркулес, назло мифологии взяв замуж бабочку-Психею, я препарирую гусениц психозов и расчлняю коконы фобий, зная, что борюсь с гидрой, и безнадежно ждaть Июлая-факельщика, который прижмет обрубки шей. С аналогичным рвением я мог бы чесать им пятки. Зато богатые родственнички моих пациентов с удовольствием платят за роскошь небрежно уронить во время банкета или презентации: «Ах, бедный дядюшка! Но вы ведь знаете, он полностью обеспечен! Многие бы продали душу за возможность оказаться на дядюшкином месте! Разумеется, в клинике... верней, в пансионате. У этого, который!.. ну, того самого, если вы меня понимаете...»

Собеседник, как правило, понимал.

Естественный отбор: непонятливых давным-давно отказывались пускать на банкеты и презентации. Умение кивнуть в нужный момент сродни дорогому галстуку. Своего рода визитная карточка. Ведь даже продай непонятливые душу, вырученных денег не хватило бы для оплаты места в клинике, верней, в пансионате, где есть камеры слежения, вежливая охрана, умные доберманы и тот самый доктор, если вы меня понимаете.

«Тем самым» (а заодно «этим, который!») доктор стал двадцать пять лет назад, после скандального цикла статей «Семьдесят стоянок», где он увлеченно полемизировал с Джавадом Нурбахшем, рискнувшим открыто выстроить параллели между психоанализом и суфийским обучением. Было чертовски соблазнительно увязать «нафс-и аммару», то есть душу плотскую,

или побуждающую, вечного тирана и контролера мыслей, а также поведения человека, с «super-ego» – системой усвоенных в раннем детстве запретов, не вполне осознаваемых самим человеком. Но одним из главных тезисов «Семидесяти стоянок» было следующее: если психоанализ своей задачей ставит воздействие на человека ненормального с целью возврата его в нормальное состояние, если суфизм (как, впрочем, и дзен) формирует воздействие на психически нормального человека для продвижения его в состояние «человека совершенного» – то, приняв с позиций социума «человека совершенного» за «человека ненормального», мы замыкаем кольцо, возвращаясь в исходную точку. Подтверждая мысль, доктор с колоссальным трудом добился разрешения присутствовать на занятиях в суфийских «подготовительных классах», где психически больных лечили эзотерическими методами, а излеченных переводили во «внутренний круг» обучения. Местные шейхи сперва мрачно косились на иноверца, но, когда доктор потряс их обильными цитатами из Руми и выдержал трехчасовой «танец дервиша», оставшись к концу на ногах, даже самые упрямые ортодоксы прониклись уважением к гостю.

Ах, как давно это было...

Тогда доктора еще не раздражало обилие людей вокруг.

* * *

– У вас есть какие-нибудь жалобы?

– Жа... жалобы?

– Ну, может, вас что-то не устраивает, что-нибудь не нравится у нас? Например, кормят плохо. Рассказывайте без стеснения. Я постараюсь вам помочь, если это будет в моих силах.

– Кормят хорошо. Даже лучше, чем дома. У меня. Пюре с рыбой. Морс. Хлеб свежий. Морс нравится. А тут не нравится. Все равно.

– Что именно вам не нравится?

– Все. Люди... Их много. Слишком. От них шум между ушами. И камень не лепится. Ничего не лепится. Даже асфальт. Даже люки. Из люков лепить хорошо, мне нравится. Они такие гулкие получаются. Гулкие и тяжелые. Когда бегут – звону... Только тут они не лепятся. Это от людей. От шума. Наверное.

– Что у вас не лепится, простите?

– Големчики. Их так мамця назвала. Давно. Когда я еще маленький был.

– Хорошо, к вашим големчикам мы еще вернемся. Это очень интересно.

– Правда, вернемся? Вместе с вами, доктор? Вы тоже хотите туда... домой?!

– Полагаю, вы не совсем верно меня поняли. Или я неточно выразился. Я имел в виду: «вернемся в нашем разговоре». А пока мне бы хотелось узнать поподробнее, что еще вам не нравится?

– Все. Почти все. Люди шуршат. Громко. Всем чего-то надо. Шуршат, шуршат... Зачем? Не люблю шуршать. Не люблю слушать шуршалки. Иногда только. Редко. Или когда големчики булькают.

– Наша беседа вас тоже тяготит?

– Бе-се-да? Тяготит... тяжесть... Нет. Не очень. Вы иначе шуршите, чем другие. Вы говорите. Вы словами *делаете*. Ну, хотите сделать. А другие просто... бол-та-ют.

– Спасибо на добром слове. Тогда, если не возражаете, давайте продолжим. Итак, что вас еще не устраивает в нашем пансионате, кроме большого количества людей, шума и разговоров?

– В пан-си-о-на-те?.. Да, мне объясняли. У вас тут хорошо. Почти как дома. Големчики не лепятся, а так хорошо. Не трогают. Не пристаю: давай пошуршим! Шума меньше. И кормят. Пюре с рыбой. Морс. Клюквенный. Хорошо. Тут люди вместе – снаружи. А внутри – каждый сам по себе. И вы, доктор, сами. И я – сам. И все. Нравится.

– Значит, вам нравится в пансионате? А снаружи – нет? Скажите, вы бы хотели, чтобы вас выпустили?

– Выпустили? Куда? Домой?! Вы знаете, как туда попасть?!

– Нет, я не знаю, как попасть в то место, о котором вы часто рассказываете и о котором мы еще поговорим подробнее. Но мы могли бы выписать вас на попечение вашего кузена.

– Ку-зе-на?

– Двоюродного брата. Он очень, очень состоятельный человек, у него прекрасный особняк, прислуга...

– Юродный Брат? Не хочу к нему! Не надо. Он будет приставать. Шуршать, шуршать... Просить, чтоб я лепил. Много лепил. Не так, как я хочу. Как люди хотят. Их много, они все хотят, а я один... Только у вас все равно не лепится: люки, стены, асфальт. Нет, не хочу.

– Ну почему же – не лепится? Ваши работы показывали известным искусствоведам: они просто в восторге! У вас, дорогой мой, несомненный талант. Вы прекрасно вылепили скульптурный портрет своей матери – по этому портрету ее смогли идентифицировать, выяснили, кто вы на самом деле, у вас отыскались родственники...

– Род-ствен-ни... Не хочу к Юродному Брату! Не хочу!

– Успокойтесь, пожалуйста. Не хотите – и не надо. Никто вас насильно к нему не отправит. Если вы предпочитаете остаться в пансионате – милости просим. Я рад, что вам нравится у нас.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.